Виктор Вахштайн

Абортивная социология.

Рецензия на книгу: Гудков Л. Абортивная модернизация. М.: РОССПЭН, 2011.

Книга Льва Гудкова «Абортивная модернизация» является opus magnum, произведением жизни, подводящим итог долгой исследовательской карьере автора, одного из ведущих постсоветских социологов, руководителя Левада-Центра и продолжателя традиции Юрия Левады. В ней собраны тексты разных лет: от «Понятия и метафор истории у Тынянова и опоязовцев» до «Денег и власти в общественном мнении россиян». Тридцать лет социологических наблюдений уложились в шестьсот тридцать страниц через один интервал.

Автор и не стремится придать видимость единства получившемуся сборнику. Он честно признается в Предисловии, что единственный общий знаменатель его произведений: «одна тема или проблема — прерывание уже наметившегося развития», семантические и идеологические предпосылки предстоящего или уже произошедшего внутреннего «срыва»»[1]. Собственно, отсюда и название (почерпнутое из работ А. Тойнби и О. Шпенглера). По мнению Гудкова, аборт — это метафора русской модернизации. Впрочем, автор тут же оговаривается, что не стоит путать карту и территорию, метафору и объект: «Непонимание метафорического характера таких построений или пренебрежение этими методологическими обстоятельствами неизбежно ведут к онтологизации метода, т. е. к опредмечиванию регулятивных идей или ценностей самого исследователя. В подобных случаях происходит подмена предмета анализа и интерпретации: средства практической или идеологической оценки реальности замещают или подчиняют себе фактическое описание действительности в ее гетерогенности, сложности и противоречивости»[2]. Осознание метафорического характера сво-

1 Гудков Л. Абортивная модернизация. М.: РОССПЭН, 2011. С. 11.

2 Там же. С. 4.

их построений не спасает автора от подмены предмета интерпретацией, замещения «гетерогенной действительности» ее «идеологической оценкой».

Одним из самых интересных сюжетов в книге является «идеологическая оценка», представленная Гудковым. Попробуем разобраться в архитектуре этой оценки и механике ее производства.

В книге шесть частей. В первой содержится систематическое изложение социологии Ю. Левады и оригинальный взгляд на состояние социальных наук в современной России. Из нее мы узнаем, что: «По качеству и надежности производимой информации несколько ведущих служб России (прежде всего, Левада-Центр, ФОМ и еще две-три организации) соответствуют самым высоким профессиональным критериям, не уступая, а то и превосходя соответствующие организации в Италии или Франции»[1].

Вторая часть посвящена исследованию процесса разложения посттоталитарного общества, ключевые атрибуты которого — «бедность, зависть и насилие». Здесь автор работает в проверенной манере почти беспристрастной социографии. Пока не доходит до «дела ЮКОСа»[2].

Третья часть представляет собой попытку очертить «институциональный контекст российского авторитаризма». Здесь данные опросов плавно вытесняются историософскими рассуждениями об устойчивости «путинского режима» и риторическим вопросом: «Почему же в России не получилась демократия?»[3].

Четвертая часть неожиданно обращает читателя к проблемам социологии повседневности. Теоретическая глава представляет собой обзор преимущественно немецкоязычных источников двадцатилетней давности (сам текст, по-видимому, датирован тем же периодом). Автор сперва воскрешает жанр советской критики буржуазной социологии, утверждая, что «...сторонники этнометодологии, защитники „качественных методов“, феноменологической, гуманистической и т. п. социологии... забыли исходную, или базовую максиму социологии как науки». После этого немедленно переходит к рассмотрению отечественной повседневности, в котором все те же выдержки из исследовательских отчетов перемежаются цитатами из М. Жванецкого[4].

Пятая часть посвящена исследованию коллективной памяти. Здесь повествование достигает своей кульминации. Автор сначала де-

1 Там же. С. 26.

2 Там же. С. 177.

3 Там же. С. 337.

4 Там же. С. 485.

тально описывает, «как помнят» и «как оценивают» россияне те или иные события прошлого, а затем выносит им — и событиям, и россиянам — собственную компетентную оценку: «Принцип „ты ничем не лучше других, поэтому терпи как все, а то хуже будет“ — чрезвычайно важный механизм негативной интеграции в позднетоталитарных и посттоталитарных авторитарных обществах. Именно на этом строится априорное отрицание россиянами положительного значения Пражской весны и ее негативной исторической оценки»[1].

Наконец, последняя часть — сборник рецензий, литературной критики, тезисов конференций и писем (точнее, одного письма к М. Чудаковой). Пожалуй, это самая интересная часть произведения, возвращающая читателю «раннего Гудкова» — автора книги «Метафора и рациональность» (1994), специалиста по социологии литературы.

Исток теоретизирования Л. Гудкова более или менее ясно обозначен им самим в Предисловии: «Направленность нашей работы в Левада-Центре, равно как и методология анализа полученных результатов постепенно, но все более заметно сдвигалась с изучения источников и факторов изменений на механизмы их блокировки, консервации, реставрации прежних форм организации общества и конституции человека»[2]. Отсюда метафора аборта, выражающая центральную интуицию автора: стоит в России зародиться хоть чему-то обнадеживающе либеральному, прогрессивному и демократичному, как его тут же убивают в зародыше. Кто убивает? Злонамеренный «врач» с согласия циничной «матери». В роли врача выступает, разумеется, «авторитарная, централизованная, не подконтрольная никому власть»[3]. А в роли матери выступает «незрелое» российское общество, точнее — советский человек, чудом выживший и окрепший в постсоветском мире: «Главное препятствие российской модернизации, как нам много раз приходилось говорить и писать, заключается в самом типе советского или постсоветского человека (Homo soveticus), его базовом недоверии к миру, в опыте приспособления к насилию, которые делают его неспособным к рецепции более сложных моральных представлений и отношений»[4].

Здесь проявляется любопытное свойство метафорических объяснений в социологии, названное Д. Куракиным «неконтролируемой экспансией метафоры». Метафора аборта предполагает, что цинизм и некомпетентность «матери» дополняются цинизмом

1 Там же. С. 543.

2 Там же. С. 6.

3 Там же. С. 7.

4 Там же.

и компетентностью «врача». Отсюда «...своеобразное родство душ верхов и низов, которое образует морально-политическое единство последних лет, понимание и взаимодействие, взаимопризнание и солидарность власти и населения»[1]. При этом «мать», как водится, заслуживает куда большего осуждения за «имморализм согласия с властью» и «сопротивление переменам»[2].

Вообще, дихотомия «верх — низ» или (что одно и то же у Л. Гудкова) «власть — общество» представляет собой базовое различение всех интерпретативных конструкций автора. И в этом Л. Гудков удивительно близок герою нашего тематического номера Джеймсу Скотту. Только у Скотта бюрократический рациональный порядок власти пытается «колонизировать» и «модернизировать» привычный повседневный порядок жизни людей, встречая сопротивление того, что Скотт называет «метисом», т. е. неявного неэксплицируемого знания, сермяжной правды жизни, локальных устоев и хитроумного уклонения от попыток сделать жизнь людей лучше. Для Скотта в этом противостоянии кроется причина провала всех крупных модернизационных проектов: логика бюрократического разума проигрывает логике практического действия, их столкновение — это игра льда и пламени. Картина мира Л. Гудкова столь же дуалистична, но это дуализм активного цинизма власти и пассивного цинизма общества. На протяжении всего повествования автор колеблется между осуждением «режима» и отвращением к «аморфной массе». Замечу, что если у Скотта модернизация — это орудие колонизации общества властью, то у Гудкова она — невинное дитя, убитое в зародыше по соглашению сторон.

Многократное повторение диагноза «цинизм» (более десяти раз на нескольких страницах Предисловия) тоже неслучайно. Сквозь наукообразный нарратив, в котором выступления Ю. Левады перемешаны с цитатами из Т. Парсонса и заимствованиями из Н. Лумана, прорывается плохо скрываемый пафос морального осуждения: «Социологические наблюдения и анализ текущей политики свидетельствует, что люди, находящиеся сегодня у власти, отобранные ею, кооптируемые в структуры государственного управления, отличаются тем же завистливо-циническим сознанием, что и масса российского населения в целом»[3]. Легкость, с которой в этой фразе делается шаг от «социологического наблюдения» к моральной диагностике, поначалу удивляет. Но читатель быстро свыкается с удивлением. Потому что дальше, как минимум, в четырех разделах кни-

1 Там же. С. 9.

2 Там же. С. 8.

3 Там же. С. 9.

ги социологические данные используются почти исключительно для вынесения моральных оценок. Это сообщает стилю книги комично-назидательный тон: «В российской прессе прошла информация о выделении из бюджета более миллиарда рублей на финансирование партии „Единая Россия“ и других прошедших в парламент партий, но она никого не взволновала. А зря.»[1]. Социолог, видимо, лучше остальных знает, что именно «должно» взволновать общество.

Помимо моральных диагнозов, книга изобилует диагнозами психологическими. Начинается все с сильного утверждения: «Специфическая „невменяемость“ российского общества объясняет периодически возникающую блокировку модернизации»[2]. И пока читатель переваривает эту информацию, на него градом сыплются «...неуверенность людей в себе... робость, пассивность, астения, аутизм, склонность к навязчивому и безостановочному, непродуктивному копанию в себе... хроническая тревожность, комплекс жертвы либо же диффузная, безадресная агрессия, демонстративное самоутверждение и самодовольство, характерное для подростков, футбольных фанатов или телеведущих»[3]. Удивительно, насколько этот диагноз пересекается с тем, который поставил российскому обществу другой крупный исследователь общественного мнения, директор ВЦИОМа В. Федоров в своей книге «Русский выбор». Но если Л. Гудков, используя психодиагностическую терминологию, пытается разобраться с помутнением «массового сознания» (еще одна неконтролируемая экспансия метафоры), то В. Федоров, вооружившись Юнгом, дошел до «коллективного бессознательного». Любопытно, что занимающие полярные позиции в идеологическом спектре российской социологии Гудков и Федоров в равной степени охотно ставят диагнозы российскому обществу. Причем, оба прибегают к псевдо-психологическим объяснениям тогда, когда исчерпывается запас собственно социологического воображения (психолог-адлерианец, несомненно, усмотрел бы в этом действие механизма компенсации).

Необходимо уточнить: где же именно находится наблюдатель, проводящий различие между «властью» и «обществом», выносящий им обоим свой суровый моральный приговор и неутешительный диагноз? Какова та когнитивная перспектива, в которой становится заметно это *единство различения* общества и власти (не очевидное, например, для Джеймса Скотта, занимающегося в свободное время разведением скота на своем ранчо и полностью солидарного с «хит-

1 Там же. С. 11.

2 Там же. С. 7.

3 Там же. С. 10.

роумным фермером», саботирующим очередную федеральную сельскохозяйственную программу). Из повествования ясно только, что это не позиция университетского профессора, потому что «...для казенной российской социологии (как академической, так и университетской) проблемы природы посттоталитарного общества или его социальной антропологии представляются чужими или искусственными, так как весь дух ее исследований... подчинен интересам действующей власти»[1]. Правда, в том же абзаце упоминается «гражданское общество», чьи ресурсы «скукоживаются с каждым годом, если не месяцем». Очевидно, что именно это просвещенное, независимое, но скукоживающееся сообщество и является референтной группой автора.

Если применить модель описания, предложенную Л. Гудковым, к его тексту, следовало бы говорить о «сознании постсоветского интеллигента», которое является превращенной и отчужденной от самой себя формой «массового сознания». Возможно также предположить редукцию комплексности (или как предпочитает переводить этот лумановский термин сам Гудков «сбрасыванию сложности») и стремление замаскировать свою институциональную и политическую ангажированность разговорами об «этическом фундаменте» и «ценностной компоненте» исследования.

Однако мы не пойдем по данному пути. Применение подобной модели описания, пусть даже возвратно к ней самой, означало бы окончательный выход за пределы науки и переход в область морально-идеологических суждений.

1 Там же. С. 6.